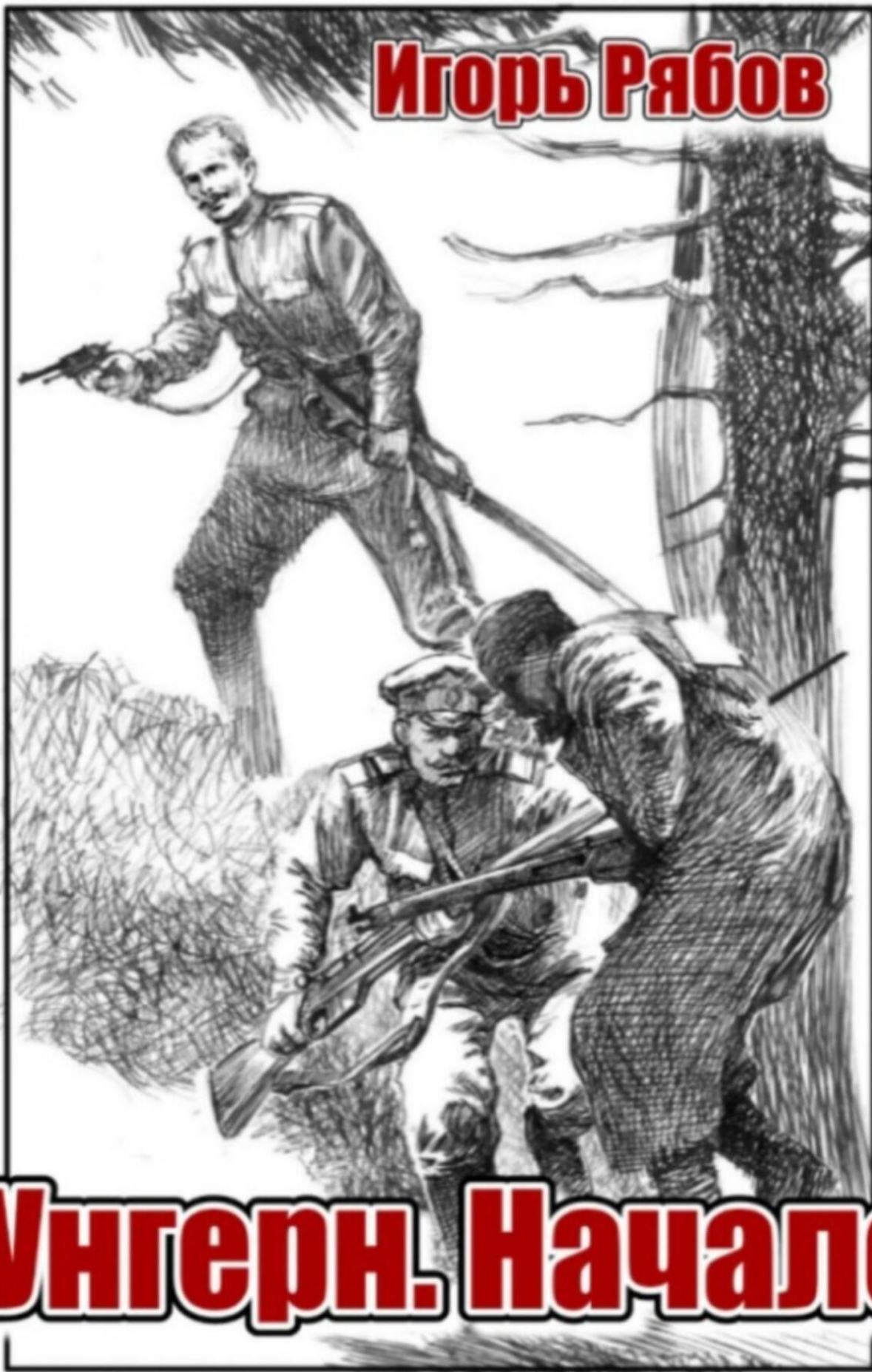


Игорь Рябов



Унгерн. Начало

Год железной птицы

18+

Игорь Рябов

**Год железной птицы.
Часть 1. Унгерн. Начало**

«Автор»

2023

Рябов И. О.

Год железной птицы. Часть 1. Унгерн. Начало / И. О. Рябов — «Автор», 2023

Первый роман о бароне Унгерн-Штернберге, его жизни и роли в истории России, написанный на основе существующих документальных сведений, но в художественном изложении. Это не перечень событий, а художественное изображение времени и событий, происходящих с главным героем. «Год железной птицы» - это не только барон Унгерн, но и десятки ярких образов эпохи, людей, реально живших или имеющих своих прототипов. Книга изобилует эпизодами на тему «как это могло быть». Впервые читатель сможет увидеть одного из самых загадочных людей и одного из наиболее недооцененных исторических деятелей, без упора на привычные шаблоны. Пораженный читатель окажется в водовороте событий эпохи расцвета и падения Империи. Беглые каторжане, горячие офицерские дуэли, конные погони, похищение золотого запаса последнего царя, угон литерного поезда со снарядами, отражение ночных штыковых атак, мистика востока, загадочные и ужасные персонажи времен барона Унгерна, отвоевание Монголии у Китая и многое-многое другое...

© Рябов И. О., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Пролог	5
Глава первая	17
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Игорь Рябов

Год железной птицы.

Часть 1. Унгерн. Начало

«Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень подробностей».

Аристотель

Пролог

Губернский город Новониколаевск.

1921 годъ, 16 сентября.

К вечеру ветер переменялся. Сейчас он дул легкими порывами прямо в лицо, тихо и ласково играл волосами. Роман Федорович Унгерн с удовольствием подставил его прохладному дыханию покрасневшие, невыспанные глаза. Помаргивал, досадливо ощущая с каждым движением век, нечто вроде мелкого песка на глазной поверхности. Ветер погладил его по лицу своими невесомыми ладонями, шевельнул нечесанные волосы, шустро забрался под отросшую бороду, потом за стоячий воротник монгольского халата и приятно похолодил вспотевшую грудь. Он дышал ветром, как пил и с каждым вдохом расхолодившееся сердце стихало и постепенно пошло своим ходом «так-тук». Роман Федорович бесстыдно зевнул, даже и не думая сдерживаться, лишь мазнул по заветренным губам рукавом халата. Машинально потрогал грудь, в том месте, где обычно крепилась колодочка Георгиевского креста, пощупал складочку материи с двумя крошечными дырочками, внутренне позлорадствовал. Товарищи загодя совещались, когда снять крест, до или после расстрела. Решили, что после, а перед тем произвести фотографирование. Теперь пускай поищут власть. Крестик-то он выбросил в уборную; долго стоял над ямой, морщил лоб, подбрасывал на ладони, тер подушечкой пальца полинялую ленточку, думал, пока в дощатую дверь не постучал конвоир-красноармеец. Тихонько так постучал, еще и прикашлянул деликатно, трусил по всему видно, сволочь.

Этот стук и помог решиться, он, словно очнулся – подумалось, раз вся Россия в дерьме, так, что за дело до креста. Пускай отправляется туда же.

Легко и вольно стоялось под освежающим ветерком, который всю хозяйничал на аллеях запущенного городского парка. Правда, сказать, что парк был просто запущен, наверное, было нельзя, разве, что из особенной деликатности. Бузина, совместно с папортником и юными осинками, жадно захватывали любое свободное место. Прелая листовенная падаль надежно укрыла собой дорожки, мощные плоским булыжником. Эффект, само собой, усиливали и плоды жизнедеятельности народонаселения в виде массы папиросных обкурков, ныряющих среди океана семечной шелухи, припорошенной еще и выцветшими бумажками от карамели.

Было тихо так, что грустное поскрипывание деревьев, казалось, остается последним звуком на земле. Птицы, обычно вольготно себя чувствовавшие в буйно заросшем парке, угрюмо

затихли. Их черные бусины-глаза внимательно разглядывали людей, наводнивших благодатное пространство земли, преющей под толстым слоем старых листьев, щедро дарующее пропитание в виде жирных червей-выползков и жучков, самой разнообразной конфигурации. Люди чрезвычайно суетились, передвигались взад-вперед, строясь и перестраиваясь, переговаривались, ругались и командовали, но как-то вполголоса, приглушенно, как это бывает при покойнике. Птицы наблюдали за этим, недружелюбно шурясь.

Роман Федорович был, как бы вне всего этого коловращения, – поставили среди поляны и опасливо отошли, наблюдая за ним с таким сосредоточенным вниманием, будто за поплавком, замершим посреди мутного озерного ила. Постоял, опустив руки в карманы – надоело. Заложил руки за спину, покачиваясь с каблука на носок. Прищурился на двоих ближайших, одетых близнецами в лиловые пиджачки, кожаные картузы и защитные штаны с мешочком на заднице. Те смущенно глазели в ответ, не мигая, и только беспрерывно передвигали кобуры на поясе, – у одного с тяжелым бельгийским «бульдогом», у второго вовсе с чем-то устрашающим, представлявшим собой нечто вроде продукта скрещивания старинного дуэльного пистолета и скорострельной морской пушки.

– Дай закурить что ли! – грубовато сказал один, обращаясь к товарищу, и оба с облегчением отошли, гремя спичками.

Лечь хотелось адски, – двое суток без сна, сначала допросы, спешная готовка материалов для суда, потом самый суд – семь часов сидения на скамье и стояния перед такими типами, за которых он бы раньше и подошвы сапога, самого последнего своего казака не дал бы.

Он помнил этот парк, вспомнил, что был здесь однажды, еще до войны. Эти воспомина-ния цветными точками пульсировали в мозгу, но никак не желали развернуться в картинки. Может быть, это было не в этой жизни? Или в этой, но что тогда случилось с его душой? Почему он ничего не помнит из того времени, когда мог смеяться? Он медленно смежил веки, так медленно, что свет уходящего дня заметался между смыкающимися ресницами радужными огоньками. Остался только скрип деревьев, который бился в ушах, словно муха в спичечном коробке. Потом пропал и скрип, а вместо него в уши полилась музыка. Вальс «Дунайские волны», – Роман Федорович услышал его солнечное звучание так ясно, словно не было прошедших девяти лет. В голове вспыхнуло.

* * *

Пары неслись над плотно подогнанными досками площадки для танцев с такой невообразимой легкостью, что было полное ощущение их невесомости. Воздушно легкие разноцветные платья, газовые шарфы, нарядные мундиры – все это летело, вращалось в празднично-беззаботной круговерти. Смеющиеся молодые лица офицеров, сияющие от восторга глаза юных барышень, их жемчужные улыбки, сверкающие из-за пунцовых губ, – казалось, что само солнце передумало садиться и зависло над деревьями Александровского сада, чтобы полюбоваться праздником молодости и танца. Духовой оркестр пехотного полка, в новых мундирах и белых перчатках, сидя в беленькой, изящной беседке, исполнял так, что и самой столице не стыдно было предьявить. Мелодия то била фонтаном, заставляя сердце и душу трепетать от восторга, то текла плавно, как медленная лесная речка, уносясь к тихому сентябрьскому небу, золотисто-голубой свод, которого маленькими серыми молниями чертили шустрые стрижи. И так, вся центральная площадка была прочно во власти шумной и легкомысленной молодежи, еще полной самых разнообразных надежд.

По широкой главной аллее парка, а также боковым аллеям поменьше, прогуливались господа постарше и заметно солиднее как чинами, так и в соображении тяжеловесной дородности. Фраки, вицмундиры, сюртуки, манишки, затмевающие своей белизной горные снега, блеск орденов, запонок, фамильных печаток, – все это дышало силой и основательностью. Гос-

пода этого разряда не имели влечения к танцам, а предпочитали вместо того прогуливаться вперед-назад, ведя под руку своих беспрерывно улыбающихся подруг. Вкуса и моды в нарядах дам сообщалось столько, что господам имевшим счастье побывать в столице, временами казалось, что сам красавец Невский проспект опустился на место неприятельного парка, не так давно устроенного из клочка леса, зажатого между рекой и железной дорогой.

В недавнем времени произведенный в сотники Роман Унгерн, поначалу прогуливался по аллее, стараясь все же не беспрерывно косить глаза на свои новенькие погоны, к серебру которых так и притягивались последние солнечные лучи. Отпуск его подходил к концу и в последние дни он заехал в Новониколаевск, рассчитывая встретиться с товарищем, бывшим с ним на Японской войне.

В этот день, барон выглядел почти безупречно и жаль только, что полковое начальство, вечно пенявшее ему на недостатки внешнего вида, было далеко. Один из лучших парикмахеров города, получив вперед пятирублевый билет, приложил все силы к борьбе с запущенностью усов и шевелюры Романа Федоровича. Щеки его, при помощи французского мыла, английской бритвы и российских пальцев были приведены в состояние совершеннейшего атласа, волосы на голове и усы тщательно подстрижены и уложены волосок к волоску. Отлично сшитый накануне отпуска мундир сидел как влитой, вокруг благородно лоснящихся сапог строевая шашка.

Вскоре, прогуливание ему страшно надоело, поскольку было делом скучным, да и не в последнюю очередь потому, что рука и шея начали испытывать некоторые протестные ощущения, причиной которых были бесконечные козыряния и поклоны. Не привыкший к таким променадам барон, привлеченный «Дунайскими волнами», а вальсы он слушать любил, поспешил на его звуки. Отыскав свободную скамейку, он с облегчением присел, вытянув ноги, гудящие от целодневной ходьбы. Танцевать он и не помышлял, поскольку предавался этому благородному занятию последний раз не далее, как во время учебы в Морском корпусе. Он блаженно покурировал, разглядывая людей и деревья, и вдруг дернулся, как от разряда тока. Нежный, словно бы канареечный голосок произнес сбоку:

– Отчего вы не танцуете, господин офицер?



Унгерн вскочил, словно подброшенный и больно приложился к ветке, нависшей над скамейкой. В голове лопнул цветной шарик и в глазах несколько помутилось. Но вида он не показал и даже ловко шелкнул каблуками, чего обычно никогда не делал, да собственно и не предполагал, что умеет это.

Рядом с ним стояла девушка, почти девочка, верно, недавняя гимназистка или что-то в этом роде, одним словом ужасно легкое и неземное существо. Она словно бы высовывалась

по плечи из розового бутона, каким барону представилось ее пышное и воздушное платье, на незащищенно детской шейке дрожала слезинка горного хрусталя, спускаясь с тонкой бархотки.

Личико ее белело, словно перевернутое яичко, серые, прозрачные и глубокие, словно лесные озера, глаза смеялись, но губки испуганно подрагивали от собственной смелости. Волнуясь, она поднесла полупрозрачную ручку к чистому без единой морщинки лбу и выжидательно смотрела на потерявшего дар речи барона.

– Простите сударыня, вы из любопытства интересуетесь, или желаете, чтобы мы потанцевали? – собрал он, наконец, клубок мыслей в связное предложение, глупое, довольно таки, по смыслу.

Смех девушки был таким нежным и задорным, что у барона пересохло во рту и застучало в висках.

– Это конечно ужасный mauvais ton с моей стороны, и тетенька не одобрит, но вы угадали – я хочу танцевать с вами.

Унгерн побелел, как меловая стена и коротко кивнул.

– Это будет счастьем для меня.

Задрожавшими внезапно руками он передвинул шашку куда-то назад. Девушка благодарно показала ему зубки и низко присела, склонив головку. Барон со сладко замершим сердцем смотрел, и не мог оторвать глаз, на черные кудряшки, непокорными колечками, обсыпавшими незащищенную шейку...

* * *

– Эй ты! Барон, твою мать! А ну, не дрыхнуть!

Роман Федорович вздрогнул и открыл глаза. Видение исчезло. Он стоял посередине той самой танцевальной площадки, где мгновение назад гремела музыка и кружились в танце пары. Или может быть, это были призраки? Может быть. Теперь перед глазами маячила цепь чекистов в пиджаках и вытертых добела кожаных куртках, плотно оцепивших площадку. За ними топтались и курили еще, какие-то в гимнастерках и с винтовками. Барон скосил глаза влево и встретился взглядом с желтолицым, болезненно худым человеком, который и вырвал его из воспоминаний. Тот заложил руки в карманы штанов, передвинув на живот очень красивую, блестящую кобуру. Сам чекист, в отличие от своей кобуры был не очень красив. К худобе, граничащей с со скелетообразностью, прибавлялось узкое топоричем, болезненное лицо, несущее на себе тусклые глаза со зрачками узкими, как булавоочный укол, плавающими в студенистой мути радужки. На землистом лице маковым цветком горели чахоточные губы. Губы эти зло кривились, а тонкие руки с изящными женскими кистями словно жили своей собственной, отдельной жизнью, блуждая по всей наружности, трогая то пояс, то ухо, то пуговицу. Когда он подошел ближе, Унгерн услышал сильный запах духов, с примесью ноток застарелого пота.

– И что тут с тобой так цацкаются на деликатный манер? Суды-адвокатишки, еще попа забыли позвать. И вправду не врут, что сам товарищ Ленин телеграммы насчет тебя слал? А всего-то делов, что на одну пулю! Да таких как ты, мы столько постреляли...

Тут он закатил глаза и махнул рукой.

Унгерн слушал с большим вниманием, даже головой покивал согласно, потом неожиданно заинтересовался:

– Кокаину много нюхаешь?

– А? – У чекиста от искреннего изумления отвалилась челюсть, взгляд сфокусировался почти до нормального состояния. Барон сочувственно подергал за ус, неторопливо зевнул. – Это хорошо, от него и сдохнешь.

Чекиста затрясло, лицо из землистого превратилось в почти розовое, пошло рваными пятнами, пальцы судорожно сжались на кобуре. Унгерну бросилось в глаза, что почти все пальцы чекиста были усажены кольцами и перстнями, было даже несколько дамских.

– Жабрев, что это у вас здесь? – подошел еще один в новом френче, с чудовищно оттопыренными карманами, туго перетянутом целым пучком ремней и ремешков. Квадратное его лицо носило печать озабоченности, что выглядело так, как если бы придорожный камень вдруг стал озабоченным, настолько малоподвижным и застывшим оно было. При этом он настороженно водил взглядом туда-сюда. – Нечего с ним лясы точить, раньше надо было и под проткл! И наган не лапай, смотри не сдури ненароком, беды не сделай!

– Он меня провоцирует, товарищ Николаев!

– На то он и крупная контра, чтобы вредить нам по мере имеющихся сил. А ты, как есть сознательный большевик, не должен поддаваться. А-а, Ян Петрович, компривет! Чего ждем, не знаешь?

Квадратнолицый сердечно пожал руку, не спеша подошедшему, крупному, бритому наголо латышу с недовольно оттопыренной нижней губой, влажной и синеватой. Жирные складки на лбу латыша, который случился комендантом ГубЧК Яном Вильцыным тяжело двигались, выдавая напряженную мозговую деятельность, кожаная кепка сидела на самом затылке, взгляд был пыльный.

– Павлуновский штатъ. Павлуновский прихотить, бес него не начинать, – начал он толстым голосом. – Я совсем не понимать сачем этот концерт, зачем парк? НАТО пыло расстрелять в подвале ЧК и не отвлекать так много лютей от тела. И пыло пы итеологически правильно – в томe пуршуя Маштакова расстрелять пантита Ункерна.

– Говорят большое начальство будет присутствовать, – ответил Николаев, – а ему в подвал ходить интересу нет, дух там дюже тяжелый, пахнет неавантажно, с ног валит.

Остальные вежливо заулыбались. Николаев добыл из кармана английского френча нарядный портсигар с вырезанной на крышке славянской вязью надписью: «Приват-доценту Веселаго от студентов, в память о первом выпуске», и все трое отошли к лавочке покурить. Курили долго и с наслаждением, затягиваясь всей грудью, сладко вздрагивая от благотворного воздействия никотина на организм.

Унгерну хотелось присесть, уже нестерпимо, хотя бы и на землю, но сесть никто не предлагал, а просить он не стал бы даже при полном параличе нижних конечностей. Ощутимо запахло дождем, нахмурилось небо, и барон с надеждой смотрел наверх, но грозу пронесло мимо. Ветер, дунувший с реки, снес прожорливое комарье, начавшее было роиться по закоулкам парка, принес звуки уходящего дня из самосельных деревушек-нахаловок, лепившихся по берегу Оби. Эти нахаловки, заселенные по преимуществу рабочими и железнодорожниками, жили жизнью, которая казалось, не предусматривала ни революций, ни перемен власти. Время и потрясения целого мира будто и не касались их. Звуки они испускали соответствующие. Пастух звонко щелкал кнутом, гоня с выпаса неказистое стадо, визжали ребятишки, шумно праздную свой вечный праздник веселья и беззаботности, женский голос вопил фистулой, скандаля о какой-то сгноенной шубе. Роман Федорович непроизвольно дернул ноздрями – показалось, что услышал запах выпекаемых хлебов. Но нет, из-за кустов несло только густым, чуть сладковатым запахом падали. Он поморщился и закрутил недовольно носом. К желанию сесть прибавилось сосущее желание закурить. Руки нащупали в карманах несколько сломанных папирос, но вот спичек не было, осталось только проглотить, набежавшую было слюну.

Тускло и мирно умирало солнце, медленно скатывая свой тускнеющий диск к холмистым взгорьям, обложившим Новониколаевск со всех сторон и местами покрытым скучным криволесьем. С любого из этих холмов город представлялся как на ладони, во всей своей первозданной провинциальной непосредственности.

Добрая сотня улиц была проложена настолько путано и узко, что любому глядящему с холма представлялось только бесчисленное собрание деревянных домов и домишек преимущественно одноэтажных, различного фасона, лепившихся как попало, вдоль и поперек, в иных случаях налезая один на другого. Впрочем, местами они были разбавлены каменными строениями в один и даже два этажа, большими и малыми церквями и редкими, давно уже не дымившими фабричными трубами, тонкими, как иссохшие пальцы старика. Изобилие хозяйственных построек, лепившихся к домам, говорили о прочности и усидчивости местного обывателя. Обязательные резные наличники, заботливо выкрашенные беленькой красочкой, завершали общую, милую в целом картину.

Романа Федоровича перед судом долго и нудно возили по городу, показывая различные присутственные учреждения, стараясь поразить его высокой организацией советской власти. Если так, то барон и взаправду был поражен. И в первую очередь тем, что городские общественные здания, и даже бывшие ранее в частной собственности, а ныне реквизированные, были сплошь увешаны бумажными заплатами вывесок, писанных часто от руки и содержащих совершенно непонятные комбинации букв – «Совнархоз», «Жилкомбыт», «Промснаб», «Культомасраб», «Военком», «Продторг» и самое непонятное – «Собес». При ближайшем рассмотрении, советские учреждения вызывали у больного до порядка барона смешанные чувства брезгливости и злорадства. Картина везде была одна и та же: давно немывтые полы были припорошены папиросными обкурками разного срока давности, клочками бумажек, семечной шелухой, рыбными скелетиками и разной другой дрянью. Разболтанные столы порезаны ножами и испятнаны чернилами, пыльные окна пропускали свет туго, словно через плотную кисею. Советские служащие вид имели самый удручающий. По большей части они на службе ничего не делали, развлекаясь чтением книжек, положенных между листами «дела», чисткой ногтей и разговорами о шнурованных ботинках, поступивших на склады «Промснаба». В общем и целом, впечатление получилось не очень, что прямодушный Унгерн и не скрыл от сопровождающих, вызвав их жестокое разочарование и крушение надежд на публичное признание бароном своих заблуждений.

Сейчас, от скуки, Роман Федорович по очереди впивался взглядом в лица чекистов, стоящих в цепи, считывая информацию о них. Барон на всю свою дивизию славился способностями вычленив коммунистов из массы пленных, которые все не носили знаков различия.

После боя у Гусиноозерского дацана, он лично рассортировал четыреста человек пленных, ловко отделив, из толпы мобилизованных крестьян, явных большевиков, не прибегая к допросу и изучению документов. Он и сам не знал, как это выходило. Скорее всего, помогал взгляд рассматриваемого человека, – у большевиков или других энтузиастов марксистской идеи была во взгляде какая-то прущая изнутри наглость, развязность, которую не скрывали прижмуренные веки или опущенное вниз лицо. Даже страх смерти не мог смирить мрачный огонь своего превосходства и власти над другими – «небольшевиками». Здесь не нужно было глядеть в глаза, все было понятно и так. Новониколаевские чекисты были цветом и гордостью своей профессии. Одетые в авиаторские кожаные куртки, английские френчи, очень широкие галифе и кавалерийские рейтузы. Обязательным дополнением образа были американские шнурованные ботинки, высокие, как у дам. Ко всему, они носили много золотых украшений в виде колец, браслетов, часовых цепочек с большим количеством брелоков. Поясные ремни были обвешаны пистолетными кобурами, кавказскими кинжалами в серебре, флотскими кортиками. У одного, с китайским лицом, на боку имелся кавалерийский палаш с анненским темляком. Дело было легкое, и чтобы развлечься, Роман Федорович начал определять по лицам чекистов их биографии. С круглолицым китайцем, равнодушным и сонным с виду, все было понятно. Пришедший в Россию, спасаясь от голода северных провинций, он устроился на поденную работу, судя по бревнообразным рукам – грузчиком. Так бы ему и пропасть от чахотки или надрыва на тяжелой работе, но вместо этого, он оказался в самой гуще русской революции. Неграмотность его

была скорее достоинством, чем недостатком, рабочая специальность, а особенно нежелание работать по ней открыли ему прямую дорогу в ряды «интернационалистов», штыки которых оказались бесценным подспорьем в борьбе с контрреволюцией. А плохое понимание русского и способность убивать, даже не мигнув глазом, обратили, на способного товарища, внимание руководителей нарождающейся «черезвычайки». На его равнодушном блинном лице было написано такое количество людей, направленных напрямиком в лучший мир, что даже барон, никогда не смущавшийся крови, ни своей, ни чужой, удивленно шевельнул усами.

Рядом покачивался с каблука на носок быстроглазый, чернявый чекист, субтильного телосложения, время от времени потряхивая пышной, смоляной шевелюрой. В нем барон распознал подмастерье сапожника, которому, в конце концов, надоело делать сапожные выкройки, а больше понравилось расклеивать листовки по ночам, которые, в конце концов, и докатили его до ВЧК. Барон недовольно наморщил нос, – сильнее ненависти к большевикам была только ненависть к большевикам иудейского происхождения.

Крепыш с усами пуговкой на толстой самоварной морде и сонными глазами лениво играл золотыми часами на цепочке, то доставая и любясь солнечными бликами на сверкающей крышке, то опуская их обратно в нагрудный карман черного френча. Наскучив себе часами, он протяжно зевал и скреб себе во взопревших подмышках. Этот прямо походил на бывшего тракторного полового, умевшего лихо обслужить посетителя средней руки, но работу свою ненавидевшего, ибо видел себя выше этих самых господ, перед которыми почтительно склонял голову с набриолиненными волосами, расчесанными крышей на обе стороны. И снова матушка-революция пришлась весьма кстати. Ох, и взвыли господа средней руки, которые вместо заливного и пары чаю, теперь подверглись таким испытаниям со стороны бывшего полового бегунца, что многие из них слезно молили о скорой смерти.



Роман Федорович перевел взгляд на ряд блекло-зеленых фигурок, маявшихся за спинами чекистов. Таких же точно красноармейцев, он видел после боя у Гусиноозерского дацана всего-то с месяц тому назад. Когда от толпы пленных, в четыреста человек, он отделил большевиков, которых сразу же увели к ближайшей сопке, оставшихся спросили, есть ли среди них желающие служить в дивизии генерала Унгерна. Он ожидал, что красноармейцы, по большей части молодые парни в растерзанной обмундировке без шапок, многие без сапог, испуганно

жавшиеся друг к другу заплачут, и будут в один голос проситься к мамке. Здесь он ошибся. Все оставшиеся пленные попросились на службу добровольцами и изъявили желание воевать с «коммунией». Одно он не понимал до сих пор: страх ли смерти толкнул сопливых, напуганных неудачным боем крестьянских парней к белому генералу, один облик которого у многих отнимал дар связной речи. Или все-таки он был прав в своих планах и большевики успели уже надоеть народу хуже некуда своими разверстками и мобилизациями. Роман Федорович приказал принять на службу около сотни добровольцев – лишь тех, что умели хорошо держаться в седле, – нельзя было снижать мобильность дивизии. Тогда остальные подняли такой вой, что у барона заложило в одном ухе и он, махнув ташуром, приказал пленных прогнать, снабдив небольшим количеством продовольствия. Несколько молоденьких красноармейцев долго еще бежали за ним, хватаясь за стремяна и умоляя принять на службу, пока суровые казаки не отогнали их ногайками.

Прямо насупротив него стоял, как раз такой вот парнишка в выцветшей на солнце гимнастерке, тощий и нескладный, с облупившимся, как вареная картошка носом и ушами, полупрозрачными в красноватом солнечном свете. Он топтался своими огромными ботинками, давно потерявшими первоначальный цвет, по окаменелой земле, поминутно поправляя рассохшийся винтовочный ремень, сползающий с узкого плеча, и тянул шею, жадно разглядывая необыкновенного пленника. Даже на таком расстоянии и за хромовыми спинами чекистов ему было жутковато и, пожалуй, даже страшно. Генерал высокий, обросший бурой бородкой, с казацкими давно не обихоженными усами, с виду казался безобидным, хотя и внушительным. Опустив руки в карманы желтого монгольского халата, очень нарядного, не такого, какие он раньше видел на монголах, генерал то смотрел по сторонам, то застывал, глядя в одну точку, то начинал внимательно рассматривать бойцов из оцепления. Было в этом непонятном Унгерне что-то пугающее обычного человека до озноба, до льда в кишках. Вот он скользнул по его лицу своими белыми, вымораживающими глазами, и молоденький красноармеец замер от ужаса, словно суслик в степи, над которым метнулась тень хищной птицы. Он, наверное, не стоял бы здесь, если бы не этот генерал Унгерн, вообще-то конечно злодей страшный. Война почти закончилась, о Верховном правителе Колчаке уж и не вспоминали, только где-то в Приморье еще шевелились остатки белых. И жить бы ему, только что справившему семнадцатилетие на деревне у отца с матерью, если бы не этот генерал Унгерн. Очередная военная мобилизация потрянула село в самом начале лета, когда из Новониколаевска прибыла команда из чекиста, двух товарищей в военной форме, но без военной выправки и двух красноармейцев – пожилых и ленивых. Разговорчивые товарищи пояснили встревоженным селянам, что из пустынной и чужой Монголии на молодое государство рабочих и крестьян, напал белый генерал Унгерн. Генерал этот ведет за собой орду монгол и недобитых беляков, чтобы вернуть помещиков и капиталистов, а также отнять у трудового крестьянства все нажитое тяжким трудом. Остатки трудового крестьянства, еще не призванного в Красную армию, с сомнением покачали кудлатыми головами. Собственно, отнимать-то было уже нечего, за год Советской власти из деревень и станиц методом подразверстки и реквизиций, несложным даже для человека без высшего образования, были выкачаны все остатки. А пункт в рассказе агитатора, что черный барон Унгерн хочет вернуть царя, даже вызвал некоторое оживление среди собравшихся селян. Все помнили, что при царе было продовольствия – валом и каждый встречный с винтовкой не отбирал у тебя корову, лошадь, телегу, а бывает, что и жену. Так или эдак, но уже через два часа, мобилизованные, в числе шести человек, пьяные и слюнявые, тряслись на реквизированной подводе по дороге в уездный город. На сборном пункте перед ними, и такими же, как они, свезенными со всего уезда будущими защитниками революции, держал речь помощник военкома товарищ Шварц, который сначала изругал их за небрежный внешний вид и пьянственное состояние, затем долго рассказывал о Ленине, Троцком и других героях за народ. Напоследок, призвал пролить кровь, пообещав, что в противоположном случае кровавадный садист Унгерн

перевешает их на деревьях. Призывники совсем приуныли. Затем, в учебном лагере их учили стрелять и колоть штыком, рыть окопы, но больше всего рассказывали о бесчинствах «нового Мамай» Унгерна, который не щадит ни старого, ни малого, предаёт огню деревни и села. Тех же, кто сопротивляется ему, с особой жестокостью разрывает лошадьми на части и отбирает все имущество. После такой агитации у бойцов окончательно пропала охота воевать.

Ночами, кутаясь в старенькие, жесткие одеяла бойцы, сблизив головы, шептались на голодный желудок. Больше всего вспоминали дом и мечтали о возвращении, но говорили и о будущих военных испытаниях. В основном сходились на том, что лучше всего, если дойдет дело до боя, бросить оружие и выдать Унгерну головами командиров и комиссаров, – быть разорванным на части с отобранием всего имущества понятно никто не желал. Как всегда, обнаружился знаток, который почему-то знал, что таких вот сдающихся Унгерн милует и верстает в казаки – на привольную и сытую жизнь. Потом их даже погрузили в эшелон и повезли на фронт, но на полдороге завернули обратно – пришло известие, что войска Унгерна разгромлены, а сам он взят в плен.

На мгновение, широко распахнутые голубые глаза крестьянского неженатого еще парня Валерьяна, чьи родители переехали из Смоленской губернии в Сибирь по призыву Петра Столыпина, встретились с взором цвета голубоватых морских барашков. Взором, что принадлежал человеку, соединившему в себе не подлежащие обычно совмещению титулы прибалтийского барона, начальника белой дивизии, мужа маньчжурской принцессы и диктатора Монголии. В глазах Унгерна вспыхнул мимолетный интерес к растерянному, тянувшего в его сторону шею парнишке, но тут же и угас, заскользив по другим лицам. А Валерьян долго еще стоял, не шевелясь и даже не поправляя винтовку, повисшую на сгибе локтя, все не мог прогнать из головы глубокий, бездонный, совершенно почти бесцветный взгляд, который словно бы заглянул в его бесхитростную душу. Но страха уже не было, прошел страх.

Не было страха и у Романа Федоровича, хотя он и попытался поискать его внутри – все-таки не каждый день расстреливают. Тщетно. Не было, хоть убей. Монголы звали его Богом Войны, поклонялись, как его воплощению, боялись страшно его гнева и силы. А боги не умирают, не испытывают страха смерти, не могут претерпеть от земного оружия. А он и лез всегда в самую свалку боя, туда, где воздух был живым и кричал в голос от режущего его металла и люди валились из седел десятками. И чувствовал тогда на себе восторженные, благоговейные взгляды монгольских бойцов, а потом из его седла, седельной сумки, сапог, халата вынимали пули, в каждой из которых была своя смерть. Монгольские всадники, спешившись, почти-точно толпились вокруг, перешептываясь и падая ниц, как только видели его взгляд. Пули эти разбирали по рукам, прикладывая к жестким губам, как святые талисманы, оберегающие от смерти в бою...

А может быть он и впрямь стал Богом? Богом Войны, и тщетны будут усилия убить его, но с этого момента начнется все главное, что должен он сделать...

Ему стало покойно, очень покойно, он отпустил мысли и начал впадать в медитативное состояние, когда перед глазами все начинает плыть, меняться и вот уже расцветает радугой. Тело это уже не его, нет гудящих от усталости ног и нет ничего, кроме полета и легкости.

Чекист с китайским лицом, неожиданно вздрогнул и, сбросив выражение равнодушия с лица, с тревогой всмотрелся в барона. Его поразило, что прозрачный и спокойный взгляд пленника вдруг потемнел и на глазах стал наливаясь темно-бирюзовым морским цветом. Лицо же не выражало ровным счетом ничего, было бесстрастным и отрешенным. Китайца словно ударило наотмашь сгустком энергии так, что он покачнулся, его что-то дернуло к барону, и он с трудом устоял на месте. Он слышал, конечно, все эти легенды об Унгерне и никогда не верил им, хотя и был до обретения революции буддистом, но сейчас жесткие его волосы шевельнулись под маленькой черной шапочкой. Судорожно задышав, он прикрыл трепетавшие веки и перед глазами заплясали оранжево-черные языки пламени, уши заполнили тягучие удары в

гонг. Сквозь гонг ему слышался, не по земному страшный, утробный рык, словно бы идущий из-под ног, из-под самой земли. Глаза китайца распахнулись до последнего возможного предела, зрачки тревожно расширились и сужались. Задрожавшие вдруг губы, сами собой шевельнулись, произнося:

– Махакала...

Глава первая

Станция Даурия, 60 верст до границы с Монголией.

1908 годъ.

В полковой канцелярии сумрачно и стоит тишина такого рода, при которой любые звуки слышатся будто бы из-за глухой стены. Приглушенно бубнят писари, переговариваясь то ли о фуражных ведомостях, то ли о хлебном квасе. Обстановку не оживляют даже и солнечные лучи, бьющие пучками сквозь тусклые оконные стекла. Внутри их золотистых струй пляшут миллионы микроскопических пылинок. Углы комнат изъясляют полную готовность хотя бы и прямо сейчас испытать на себе воздействия половой щетки. Под столами – изобилие бумажных клочков, карандашных огрызков, окаменелых кусочков провизии и еще всякой ерунды. Сами столы, правда, дивно хороши, изготовленные с изрядным усердием из старого кедра и отлакированные с таким тщанием, как не лакируются даже и паркеты в домах курских помещиков.

В кабинете же полкового командира, узком и вытянутом, будто пенал, тишина совсем уж неживая. Правда, казенная обстановка, как нельзя лучше подходит к этому безмолвию. По всему было видно, что главное помещение полка видывало и лучшие времена. Стены, выкрашенные некогда очень красиво желтенькой краской, имеют потертости в тех местах, где прислоняются офицеры, рассаживаясь по стульям во время совещаний. Выше потертостей, развешано несколько старинных карт и потемневших от воздействия времени литографических картинок. Литографии остались от бывшего командира 1-го Аргунского полка полковника Крымова, любителя искусства с военным уклоном. Одна из них изображает картину Гангутского боя. На ее первом плане Петр Великий с руками длинными, как у орангутана, указывает пальцем на пузатый шведский корабль. Вокруг него оцетинились штыками долговязые солдаты в треуголках. Вторая литография прославляет штурм Измаила. Вся ее верхняя часть была затянута клубами порохового дыма, вырывающегося из пушечных жерл. Ниже были видны высоченные стены, на которые по лестницам карабкались суворовские солдаты, похожие на муравьев. Третья была настолько выцветшей, что разобрать на ней можно было лишь линиящую кашу из лошадей, усатых голов с раскрытыми ртами и кургузых мундирчиков.

Нынешний командир полка – полковник Логинов нынче пребывал в крайне неровном настроении. Врожденное самообладание, а еще более желание показать свое хладнокровие, впрочем, удерживало его от гневных выкриков. Постукивая толстым зеленым карандашом по столешнице тумбообразного стола, напоминающего жертвенный камень из темных времен, он хмуро осматривал офицера, вольно расположившегося перед ним на стуле и даже слегка раскачивавшегося. В ритм его покачиваниям тихонько простонала разболтанная половица.

Надеявшийся оглушить вызванного офицера внушительным молчанием, а уж потом прочитать длиннейшую поучительную нотацию, Логинов слегка растерялся. Сидевший перед ним, недавно прибывший в полк, хорунжий Роман Федорович Унгерн смущенным не выглядел. Напротив, его поведение говорило о том, что и здесь в главном святилище полка, куда проштрафившиеся офицеры всегда входили с робостью и внутренним трепетом, он чувствовал себя покойно и непринужденно. Внимательно рассмотрев карты и мазнув взглядом по литографиям, Унгерн разглядывал обстановку комнату, не пропуская ни одну деталь. От скуки, чувства обострились, и он ясно видел, как паучок опутывал паутиной переплеты книг, очень красиво выставленные в ореховом шкафу. Одновременно, Унгерн прислушивался к едва

слышному разговору полкового адъютанта с интендантом, лениво втекающему под дверь и немного развлекающему его.

Интендант пискляво жаловался, что командир полка не разрешает списывать подгнившие сухари и заставляет учитывать их при каждой ревизии. Унгерн внутренне посмеялся. Он хорошо себе представил, какое количество сухарей мигом бы сгнило, разреши командир их списывать. Время остановилось. Пристальный взгляд командира, впрочем, не смущал Унгерна. У каждого свои странности, что тут скажешь. Этот молчать любит, и на здоровье. С немалым трудом подавил зевок, челюсти свело.

Наконец полковник, видя, как теория грозного молчания терпит в некотором смысле банкротство, первым нарушил тишину. Унгерн от неожиданности вздрогнул, сварливый голос командира штопором ввинтился в уши. Таким голосом хорошо счищать ржавчину с корабельных котлов.

– Господин хорунжий! Мне неоднократно докладывали, что вы ведете образ жизни несовместный с понятием офицера и дворянина. Недостаточно следите за своим внешним видом, а также появились в расположении полка пьяным, как сапожник! А эти постоянные гимназистские выходки, нарушения дисциплины! – Логинов, разгоняя себя, мячиком вспрыгнул со стула, швырнул карандаш на стол и прошелся до двери и обратно, нервно меряя пол короткими ногами. Унгерн поворотом головы почтительно проследил за его перемещениями. Полковник перебирал в голове варианты дальнейшего разговора. Ходьба заметно успокаивала его.

Плюхнувшись обратно за стол, и окончательно совладав с нервами, полковник спросил почти ласково:

– Голубчик Роман Федорович, а может быть вы, что-либо хотите выразить своими поступками, высказать? Так скажите мне сейчас, я ваш командир, постараюсь понять.

Унгерн имел вид такой, словно более всего на свете его сейчас интересует носок собственного сапога, не слишком хорошочищенного. к слову говоря. Помедлив минуту, он поднял светлые, почти прозрачные глаза на командира, юношеские, жидкие усики слабо дрогнули.

– Я, господин полковник, хочу выразить своими поступками, что мне иногда бывает смертельно скучно прозябать в нашем полку. Служба настолько постная, что и не хочешь, а согрешишь.

Полковник оторопел. Мигнув раза три-четыре, он протянул, вытягивая слова, словно они были из каучука.

– Так вам скучно-о-о? А я-то думал, Господи-и-и... А вы ступайте служить в жандармы, там я слышал весело. Обыски, аресты, облавы на социалистов, бомбистов и прочую такую шваль. Погони, розыски, поиск улик, не служба, а мечта Пинкертон! Одним словом, скучать не приходится. И... собственно, что значит скучно? Не может же, в конце концов, у нас постоянно идти война.

Барон весело наморщил лоб.

– Среди Унгернов не припоминаю шпикив, и для меня было бы крайне нежелательно стать первым таковым. Не испытываю желаний, попав на тот свет, получить семьдесят две оплеухи...

Полковник произвел движение бровями, такое, как если бы две толстые, мохнатые гусеницы изящно прогнули спинки. Барон, улыбаясь, пояснил:

– Ровно столько моих предков было убито на войне.

Полковник издал неопределенно-задумчивый звук, не поддающийся расшифровке, нечто вроде: «хмрхмр». Разговоры о древности рода были ему до крайности неблизки, ибо его собственное дворянство насчитывало лишь два поколения. Он раздраженно листнул служебный формуляр Унгерна. Взгляд споткнулся на казенноватой, но неизбежной фразе: «За

примерную службу на театре военных действий и участие в походе против Японии награжден светло-бронзовой медалью...»

– В Японском походе вы отменно проявили себя, отмечены наградой, – вяло пробубнил Логинов, желая настроить разговор на более мирный лад, впрочем, не имея для того нужного воодушевления.

Унгерн слегка засветился изнутри, черты лица смягчились от приятных воспоминаний.

– Мммм, – в тон отвечал он своему командиру, с некоторой теплотой глядя на него.

В следующий миг, лицо Романа Федоровича потухло, будто погасили внутреннюю лампочку. Затем он и вовсе pokrивился, словно от зубной боли. Потом проговорил, отдельно проговаривая слова.

– Нарочно ведь оставил Морской корпус, пошел рядовым, чтобы сражаться, вытерпел цуканье фельдфебеля из мужиков. Дворянин тысячелетнего рода, а стерпел. Да и матушке, если по чести, сердце разбил; она меня морским офицером желала видеть, а не нижним чином. Так биться с врагом хотел, что все прочее стало маловажным.

Унгерн смотрел на полковника серьезно и грустно, не скоморошничал больше и не храбрился. Потом улыбнулся невесело.

– Хотя, в бою быть и не посчастливилось, однако без сделанных поступков, я бы не оказался в нашем славном Первом Аргунском. Хотя временами здесь бывает тоска зеленая!

– Тоска зеленая, смею вас заверить милостивый государь, не здесь, а где-нибудь в Сибирском или Пензенском полку, – с некоторым ядом отвечал полковник. – Там наиболее интересным событием считается приезд провинциального театра, с поистасканной постановкой, от которой бывает тошно даже занятым в ней актерам. Хотя актеры временами бывают очень даже..., – отвлекся, было, полковник и даже мечтательно пошевелил пальцами, но спохватился и снова построжал.

– А если начистоту, то не буду возражать, если вы подадите рапорт о переводе в другой полк, в котором служить молодым офицерам весело. Не смею больше задерживать, хорунжий Унгерн-Штернберг!

Унгерн облегченно вскочил со стула, щелкнул каблуками, и нарочито печатая шаг, вышел. Полковник поморщился: «Паяц». Снова швырнул карандаш на стол и тоскливо посмотрел на несгораемый шкаф, в стальной утробе которого кроме всего остального нужного, янтарно светились две бутылки с коньяком, одна ополовиненная, а вторая и вовсе еще непечатая.

В помещении канцелярии, где трудились чины, не обремененные избыточным золотым шитьем на мундирах, среди нагромождения письменных столов, толстых шкафов и стопок картонных папок, иные из которых достигали половины человеческого роста, славно сучали старшие писари Кувшинов и Мельник. Полковой адъютант с интендантом ушли в офицерское собрание, и они остались здесь главным начальством. Младшие же писари старательно шуршали бумажками, скрипели перьями, вместо слов старались обходиться уважительным шипением и прикашливанием.

Мельник и Кувшинов, удобно расположившись на стульях, поставленных рядом, последние десять минут напряженно прислушивались к разговору в соседней комнате, стараясь по отдельным доносящимся фразам понять, что там происходит. Даже корчились от любопытства. Более остроухий Кувшинов распознал, что «барону фитиля дают», о чем сбиваясь на щенячье повизгивание сообщил Мельнику. Густо поулыбались друг другу. Унгерна они крепко не любили.

Когда барон вышел от командира, Мельник сделал вид, что увлечен поиском чрезвычайно важного документа в бумажной папке настолько пожелтевшей, что верно, содержала в себе сведения еще времен Наполеоновских войн. Кувшинов глаз не отвел, но взгляд его был настолько нахальным, что кровь бросилась Унгерну в лицо. Писари и не думали встать.

Унгерн мгновенно вскипел, но сдержался и лишь произнес зловеще: «Так-так, господа». Вышел, крепко саданув крякнувшей недовольно дверью.

Кувшинов, весь сияя от осознания радости маленькой победы, одержанной над неугодным начальству офицером, обернулся к Мельнику:

– Видал, мучная душа? Фон барон умылся и пошел. Не потягался с приказным Кувшиновым.

Мельник, несколько смущенный проявленной своей трусостью перед лицом врага, отвечал с некоторой горячностью.

– Сам ты мучная, я ту муку только в калачах и видал. А барона ты ловко, знай наших. На нас писарях, можно сказать, весь полк держится. Приказ отбить – давай Мельника, наряд на патроны – опять ко мне! Нам перед каждым хорунжишкой трепаться не след.

– А барон-то, из немцев будет?

– Известное дело.

Помолчали. Потом Кувшинов просветлел.

– А я слышал, что немцы с бабами не по-нашему живут.

– Это как так? – Мельник обратился в долговязый знак вопроса, белесые глазки подернулись влажным.

– А вот как, – Кувшинов наклонившись к, заросшему проволочным волосом, твердому уху Мельника, зашептал, опасливо косясь на дверь. Оторвавшись, упал на свое место, от довольства сияя каждой конопущкой. Мельник, низко склонившись над столом, закинул от смеха, мелко трясая костлявыми плечами. Кувшинов довольно наблюдал за ним.

Старшие писари Мельник и Кувшинов были заметными личностями в полку. Как случилось, что при своих скромных чинах они, однако же, взяли немалую силу никто не знал. Однако, частенько от их настроения зависели очень многие вопросы, как-то: скорость прохождения рапорта, представления к награде или визирования отпускного удостоверения. Поэтому связываться с ними не желали даже офицеры. Оба они проживали в городе Верхнеудинске, оба до службы промышляли торговлей. Кувшинов скупал скот по деревням и держал мясную лавку. Мельник имел шорный лабаз на два раствора в торговых рядах. Но так как состояли они в казачьем сословии, действительную службу несли в 1-м Аргунском полку.

Отдельного описания заслуживает внешность этих персонажей. Кувшинов был славно упитанным, пухлым малым, с рыхлым телом усыпанным веснушками с головы до пят. Венчик бесцветных курчавившихся волос переходил сразу в щеки, розовые и тугие, не потерявшие своей упитанности и во время службы. Ручки и ножки его казались необыкновенно маленькими, почти детскими, по сравнению с массивным телом. Глаза светло-зеленые и чрезвычайно живые смотрели умно, но несколько плутовато, выдавая в своем хозяине тот тип торговца, что всякий час готов объегорить доверчивую крестьянскую душу. Несмотря на всю свою нескладность, казачью форму Кувшинов носил щеголевато и не без лихости, до блеска надраивая голенища сапог, сбивая на левое ухо фуражку, не расставаясь с шашкой даже в канцелярии. Более всего он желал явиться со службы непременно с медалью и с лычками урядника, а посему служил со всей ревностью, угадывая любое желание начальства и бросаясь со всех ног выполнять самое плевое поручение. В письмах домой он сообщил о присвоении звания приказного, смолчав о том, что выслужил он его на бумажных работах. Добившись успехов на военной службе, он надеялся на успех и в сердечных делах. А именно – высватать-таки дочку третьегильдейного купца Толстоухова – прекрасную в соображении дородности и подернутых сладкой паволокой глаз Аглаю Никодимовну. Купец Толстоухов хотя и не прочь был породниться с оборотистым и нахрапистым Кувшиновым, но мнение единственной дочери не зажимал.

Аглая же, пышная, рослая и белотелая, была избалованной и страшно капризной юной особой. Выпустившись из Читинской женской гимназии, она в изобилии набралась новомодных идей и течений. А замуж желала идти непременно за жениха благородного происхожде-

ния: офицера или на крайний конец партикулярного дворянина. Ухаживания Кувшинова она принимала хотя и благосклонно, но как-то не всерьез. Стоило тому заикнуться о свадьбе, как она залилась таким звонким смехом, словно горсть серебряных колокольчиков высыпали в хрустальную вазу.

На действительную службу Кувшинов пошел охотно, хотя к казачьему сословию принадлежал уже формально, проживая мещанином в Верхнеудинске. Надеялся, что служба в казачьем полку придаст ему ту мужественность, которой не хватало его расплывшемуся облику. Служба меж тем началась не гладко, Кувшинов сразу очутился в числе худших. На коне, идущем иноходью, он еще кое-как держался, раскачиваясь и вздрагивая всем телом, однако стоило перейти на легкую рысь, как сразу падал на лошадиную шею, вцепляясь пальцами в гриву и закрывая глаза. Шашкой тоже получалось не очень ладно. Более всего, Кувшинов, рубящий шашкой напоминал крестьянина с цепом, тяжело и неуклюже бьющего сверху вниз по снопу пшеницы. Однако, выручила грамотность, привитая сызмальства отцом и закрепленная в церковно-приходской школе. Кувшинов хорошо читал, неплохо знал счет и обладал таким четким и красивым почерком, что начальник канцелярии полка, посмотрев на старательно выведенные строчки, только одобрительно присвистнул.

Закадыка Кувшинова приказной Мельник внешне являл собой полную противоположность. Высокий и нескладный, постоянно сутулящийся Мельник имел обыкновение непрерывно курить, искуривал массу папирос, зачастую прикуривая одну от другой. Лицо его узкое и вытянутое вперед, в профиль до крайности напоминало лошадиный портрет. Уграватый нос уточкой, торчал словно приклеенный, посреди слегка втянутых лимонно-желтых щек. Волосы, смоляные, курчавые и жесткие, напористо перли из мельниковских ушей и ноздрей, из-за чего он принужден был периодически выстригать их канцелярскими ножницами. Черные глаза-угольки антрацитово поблескивали из-под кустистых, почти сросшихся на переносице, бровей. Более всего Мельник обожал посиживать в станционном буфете со своим другом Кувшиновым, непрерывно заставляя полового подогревать самовар, просматривая газеты и благосклонно принимая уважительное и где-то боязливое отношение к себе казаков и даже некоторых унтеров.

Призыв на службу Мельник воспринял как Божий дар, поскольку находился в одном шаге от долговой тюрьмы. Задолжав двенадцать тысяч по векселям, он уже помышлял о том, чтобы сбежать в Маньчжурию, где в приграничных районах имелись русские деревни. Преимущественно они были старообрядческими, и это обстоятельство очень даже смущало будущего писаря. Радости жизни он обожал, в тех своих проявлениях, которые обычно и приводят к невылазным долгам. А старики-старообрядцы деревни свои держали в строгости.

Будучи доставленным в полк, Мельник, в числе восемнадцати казаков-новобранцев, первым делом очутился перед лицом помощника начальника штаба хорунжего Зубова, озабоченного заполнением вакансии писаря в штабной канцелярии. Обрадовавшись ловко знавшего грамоту Мельнику как родному, Зубов мигом определил того куда следует.

Поэтому настоящей службы Мельник не увидел, так как, очутившись под крылом у Зубова, питавшего слабость к расторопным подчиненным, вскоре стал совершенно незаменимым. Давно уже не было Зубова, проигравшего в карты подотчетные деньги и скоропалительно переведенного в другой полк, а Мельник по-прежнему царил в своем крохотном мирке ведомостей, отчетов и рапортов.

Выпустившийся во 2-й Аргунский полк из Павловского пехотного училища, унтер-офицер Унгерн поначалу хотел прибить нахальных писарчуков, отчего-то сразу невзлюбивших «фон барона», постоянно насмежавшихся над ним за его спиной и распускающих всякие небывлицы. Но после коротких раздумий Унгерн благоразумно решил подождать офицерского звания, надеясь с его помощью привести распоясавшихся канцеляристов к общему знаменателю. Однако, получив долгожданные погоны, Унгерн вскоре понял, как он переоценивал возмож-

ности скромного чина хорунжего. Писари перестали глумливо насмехаться над ним, но заняли позицию холодного и наглого равнодушия, прикладывая руку к козырьку фуражки при встрече с такой снисходительностью, словно бы делали невероятное одолжение. Растерянный Унгерн вскоре понял, что у него два пути: или все же побить наглецов, или подать рапорт по начальству о неподобающем поведении нижних чинов. Не мог же он вызвать их на дуэль, в самом деле. Не желая портить себе едва начавшуюся службу рукоприкладством и не приемля для себя роль кляузника, Унгерн предпочел третий путь: до поры не замечать распоясавшихся канцеляристов, но при случае прижать их.

Сейчас он стоял на сером, шершавом крыльце, вросшем по первую ступеньку в спрессованную землю. После душного, пропахшего нещадно смазываемыми дегтем сапожищами помещения канцелярии, осенний воздух всасывался легкими мучительно и сладко. Перед Романом Федоровичем, во всем своем Богом забытом великолепии раскинулась станция Даурия с поселком, окруженная со всех сторон сопками со склонами, густо поросшими березовыми и лиственничными рошицами. Осень уже пришла сюда, принесла с собой золото листвы и тот неуловимый запах, витающий в воздухе, – что-то вроде смеси последождевой свежести и здорового древесного дымка. Дожди еще не успели накрыть Забайкалье нудной серой пеленой, и все вокруг наслаждалось теплой, солнечной и сухой осенью. Наслаждался ею и двадцатидвухлетний хорунжий Унгерн, лифляндский дворянин, который из-за своей с детства не дающей покоя тяги к путешествиям и военным приключениям, неожиданно для всех сделался забайкальским казаком. Сейчас он добыл из кармана форменных шаровар коробку папирос и, чиркнув спичкой, закурил, наблюдая, как синеватый дымок стелется в хрустальном воздухе. Последнее время он вообще много курил, как ему казалось от скуки. Роман Федорович рассеянно и блаженно наблюдал за однообразной станционной жизнью. С крыльца полковой канцелярии, расположенной на небольшом возвышении, был видна главная улица поселка Даурия, которая тянулась от деревянной церкви, ветхой до прозрачности, как и ее старенький настоятель, отец Августин, до железнодорожной станции.

Улица была образована главным образом деревянными домами с потемневшими тесовыми крышами, среди которых, между прочим, иногда встречались и крытые железом, говоря о том, что в них проживают люди с некоторым достатком – железнодорожные служащие или мелкие торговцы. Во всем остальном эти дома были такими же, как у крестьян, охотников или небогатых казаков – с маленькими окошками, затянутыми мутным стеклом, деревянными завалинками, резными наличниками, низенькими дверями и белеными печными трубами. Впрочем, улицы как таковой и не было, а была дорога от церкви, вокруг которой по воскресным и праздничным дням собирался небольшой торг. Вдоль дороги, без соблюдения всякой симметрии лепилась масса строений, и жилых, и хозяйственных. Из хозяйственных построек все время несло всевозможное бляенье, мычание, кудаханье и всякое иное, столь любезное казачьему, да и всякому другому сердцу звучание.

Среди деревянных одноэтажных инвалидов было несколько выдающихся по местным меркам домов в два этажа. Один принадлежал купцу Горохову. На первом этаже поместился трактир и лавка, а на втором проживал сам купец с семейством. Вторым таким домом владел начальник станции Даурия Ненашев, человек гостеприимный и хлебосольный, проживавший, впрочем, кажется, несколько не по средствам. Офицеры полка были частыми гостями в этом доме, особенно оживленном во время приезда из Читы дочерей Ненашева – Лизы и Катюши. Третий дом, с первым этажом, сложенным из обожженного кирпича, до войны с Японией принадлежал загадочной японской фирме, занимавшейся, судя по надписи на жестяной вывеске, лесными концессиями. Кроме того, фирма содержала лавку с галантерейным товаром и парикмахерскую, которые размещались здесь же. Всеми делами заправляли трое японцев, одинаково вежливых, улыбчивых и крайне аккуратных в одежде. В лавке и парикмахерской частыми посетителями были офицеры, которых японцы принимали с особой охотой и никогда не брали

дополнительной платы за одеколон и вежеталь. За две недели до начала войны японцы незаметно исчезли, бросив товар в лавке и все обстановку дома. Нарядили следствие. При попытке расследовать исчезновение японцев, местный жандармский начальник так и не сумел отыскать ни одного свидетеля их отъезда. С тех самых пор, дом стоял опечатанным и с заколоченными ставнями, впрочем, товар из лавки, несмотря на эти меры, был сиюминутно растащен обывателями.

Невдалеке от станции разместился военный городок с казармами, в которых размещались нижние чины 1-го Аргунского полка, обширными конюшнями, с воинскими складами, арсеналом, выездным манежем, лазаретом, шорными мастерскими, офицерским собранием и недостроенным храмом. Офицеры полка не жили при казармах и предпочитали размещаться на обывательских квартирах в поселке. Благодаря железнодорожной станции поселок был обеспечен водопроводной водой, что для такой глуши казалось сказочной роскошью. Водоразборные колонки на главной улиц, в окружении полыни, колосящейся по пояс взрослого человека и покосившихся амбарушек, грубо обмазанных глиной, смотрелись истинным венцом технической мысли.

По укатанной дороге, мимо Унгерна, не спеша пропылила пароконная интендантская повозка. Слой пыли на дороге был столь толстым, что обода колес до спиц скрывались в ней. Два бородатых казака-обозника, расслаблено сидящие на повозке, при виде офицера несколько подобрались и отдали честь, изо всех сил стараясь согнать разморено-сонное выражение с лиц.

Унгерн машинально приложил руку к простоволосой голове. Сплюнув от поднявшейся пыли, он заметил, как из бочки, стиснутой на повозке мешками и ящиками, вытекает что-то тягучее и маслянистое, пронзая пыльный слой пыли темными каплями.

– Эй, служба! – гаркнул Унгерн вслед обозникам, – Масло растеряешь!

Казаки всполошились, мигом согнались сонливостью, один резко натянул поводья, останавливая повозку, второй соскочил на землю и бросился к бочке, переворачивая ее разошедшимся пазом кверху. Унгерн довольно хмыкнул, вминая каблуком окурки папиросы в каменную землю.

– Раззявы, – беззлобно буркнул под нос, отвязывая от коновязи повод своей серой молодой кобылы, нетерпеливо перебирающей передними ногами. Унгерн ласково провел ладонью по бархатным ноздрям, потрепал по шее, пропуская через пальцы жесткие, как стебли пшеницы, волосы. Кобыла благодарно пряднула ушами, с нежностью покосилась на хозяина. Унгерн, взявшись за луку, взлетел в легкое казацкое седло, сдавил бока кобылы коленями. Та послушно пошла рысью.

– Спасибо вашбродь! – казаки, справившись с утечкой, благодарно махали мятыми фуражками вслед.

Роман Федорович не спеша рысил по улице, держась в седле прямо и крепко. «Быдто кол проглотил», – любил бросить вслед писарь Кувшинов.

Ветер рвал светлые волосы барона – фуражку он надевать не любил, предпочитая держать ее в седельной сумке. Белоголовые мальчишки в рубашонках и заплатанных порточках помчались изо всех сил за Унгерном, крича и размахивая ивовыми прутками. Пыль из-под копыт летела им в лица, но они не обращали на это большого внимания. Унгерн сжал бока кобылы сильнее, ребяташки остались далеко позади, восторженно крича что-то неразборчивое. Унгерн улыбался ветру, бьющему в лицо, любовался сероватыми осенними облаками, стоящими неподвижно, точно пришипленные к небу. Улица была почти безлюдной, если не считать двух парней ухарского облика, в кумачовых рубахах, раскачиваясь шедших в сторону станции. Они любовно придерживали друг друга за плечи, выписывая ногами, обутыми в хромовые сапоги гармошкой нечто замысловатое. Оба, черные как жуки, один бритый, второй с подстриженной аккуратно бородкой.

«Конокрады, рожи подходящие», – мелькнула мысль, но тут же выскочила из головы, как никчемная и ненужная. Унгерн имел способность не держать в голове шелуху, не имеющую значения для его собственного развития и мировосприятия. Мир вокруг себя он хотел воспринимать как поле постоянной битвы, в которой он непременно должен участвовать. Вечно внутри что-то крутилось, не дающее покоя, толкающее поискать приключений на то место, которым он сейчас крепко сидел в жестком, удобном седле. Пока это не очень удавалось. Война с Японией, ради которой он бросил кадетский корпус и поступил вольноопределяющимся в пехотный полк, не дала ему прямого боевого опыта. Но условия похода, бесконечное движение в вагоне-теплушке по линии КВЖД в сторону происходящих сражений, биваки под открытым ночным небом, марши по гаоляновым полям бескрайней Маньчжурии, мимо китайских деревень, обнесенных, словно крошечные крепости глиняными стенами, ожидание скорого боя, оставили в его душе воспоминания, которые теперь приятно волновали.

Унгерн потянул повод влево и выскочил в узкий, кривой проулок, заросший бузиной и крапивой, из-под копыт во все стороны брызнули белые с рыжими пятнами куры. Кобыла вмах перескочила плетень, возведенный предприимчивым хозяином, отхватившим кусок переулка под огород; над головой, как неряшливые вороны, взлетели комья жирного чернозема. Еще три-четыре скачка и всадник понесся по скошенным лугам, огибая стога сена. Сейчас он был в своей любимой стихии. Роман Унгерн разительно не был похож на своих близких родственников не своими привычками, не склонностью к кочевому образу жизни, не своим равнодушием к комфорту цивилизованной жизни. Своего он добивался любыми путями. Чистопородный лифляндский дворянин с титулом, добился выпуска из пехотного училища в казачье войско. Служить хотел только в кавалерии, а в его случае такая возможность была только одна – в казаки. Роль, сыгранная в этом предприятии двоюродным дядей генералом Ренненкампом, атаманом Забайкальского войска, впрочем, не предавалась огласке. По особенному распоряжению дяди, к слову говоря. В судьбе племянника это было его первое и последнее участие, сделанное между поездкой на кавказские воды и получением ордена Святой Анны I степени из рук Государя Императора.

Казаки, по прибытии Унгерна в полк, поначалу отнеслись к нему равнодушно, некоторые – насмешливо. И действительно, что он мог показать им – людям, выросшим в седле, с детства владеющим пашкой так, как если бы она была частью собственной руки, без промаха низавшим любую цель из короткого кавалерийского карабина?

Конечно, занятия по кавалерийской езде были в Павловском пехотном училище, но что могли вызвать их результаты в природной казачьей среде? Лишь снисходительную усмешку казачин, заросших бородами по самые свои полубурятские глаза. Упаси Боже, никто из служаков никогда не позволил бы себе нелестные высказывания о юном офицере; но все же было в глазах и лицах казаков некое соболезнование недотепистости Унгерна в верховой езде.

Самолюбие Романа Федоровича было затронуто, если не до злых слез, то где-то близко. Иначе и быть не могло; несносный характер, доставшийся напрямиком от далеких предков-кестоносцев, да и похоже прямых разбойников в средневековых латах, давал о себе знать. В манеж не ходил, ибо зрителей там было всегда предостаточно. Он дотемна скакал на своей серой кобыле по окрестностям Даурии, выматывая ее и себя. Бросал лошадь с рыси в галоп и обратно, делал длительные верхоконные переходы, взбирался на сопки, переправлялся через ручьи и мелкие речушки. Брал препятствия, начав со стволов поваленных деревьев, научившись со временем перелетать через невысокие изгороди. Кобыла дрожала подгибающимися ногами, удрученно храпела, мотала красивой головой, роняя сгустки пены из уголков рта, когда Унгерн затемно приводил ее на конюшню. Едва держался на ногах и он сам, с серым от пыли и усталости лицом. Лениво почесывающиеся, сонные конюхи поначалу злобно бурчали, не желая в такое позднее время возиться с лошадей. Но быстро успокоились и перестали даже вылезать на звук позднего топота из своей теплой, душевной, провонявшей портянками, едким люд-

ским потом и убийственной махоркой берлоги. Унгерн не возражал, предпочитая ухаживать за своей лошадейю сам, несмотря на разбитость членов. Он водил ее быстрым шагом по двору, немилосердно зевая, жадно и быстро пил сам у колодца, долго поил лошадь, терпеливо следя за тем, как она бесконечно тянет бархатистыми губами воду из огромного каменного корыта, вросшего в утоптанную землю, шумно отдуваясь и вновь припадая к поверхности воды. После того, как она, фыркая и вздрагивая раздувшимися боками, отрывалась от воды, отводил в денник. Насухо вытирал ей круп клочками мягкого сена и, насыпав полную кормушку свежего овса, накрывал попоной. Назавтра лошадь и всадника снова ждал обычный тяжелый день.

Месяца через два перемены в хорунжем Унгерне заметили все. Он железно держался в седле, брал препятствия, неплохо управлялся с шашкой, уступая, однако в сноровке природным казакам. Унгерна зауважали в полку. Переменился он и внешне. Весь немногий офицерский лоск, что вывез барон из училища, сошел напрочь. Роман Федорович скоро забронзовел в соображении загара, новехоньякая форма поистрепалась, руки покрылись мозолями и ссадинами, в глазах же объявилась некоторая сумасшедшинка. Появилось и то неприметное первому взгляду, что частенько именуется внутренним стержнем. Ну что же, назовем это так и мы.

Офицеры приняли Унгерна с известной долей настороженности, ожидая от титулованного, не по меркам казачьего полка, сослуживца аристократического высокомерия. Ничуть этого, однако, не бывало. Роман Федорович оказался простым в общении, а скромным вплоть до застенчивости. В помощи не отказывал даже малознакомым сослуживцам, был обязательным посетителем всех офицерских собраний, не всегда полезных для здоровья и кошелька. В картёж ему поразительно не везло, но еще больше поражало его спокойное отношение к этому. Он мог, не моргнув глазом, спустить месячное жалование и никто не слышал от него ни малейшей жалобы.

Но главным его достоинством, по мнению некоторых сослуживцев, была безотказность на просьбы о займе. Особенно ценное качество для офицеров, обремененных семейством. Бывало, что Роман Федорович отдавал последние деньги приятелям, а если в срок не возвращали, и не напоминал. Его равнодушное отношение к деньгам скоро перестало удивлять. Значит так и положено. Многие считали его богачом, возможно скрытым Крезом.

Романтические версии всегда лучше, но кроме месячного жалования в пятьдесят пять рублей он имел лишь пятьдесят-шестьдесят, редко сто рублей от родственников из Ревеля. Имея деньги, он отлично ужинал с шампанским у Горохова, угощал всех случившихся рядом. Когда же деньги заканчивались, мог поесть из одного котла с казаками сотни. Только ложка мелькала под уважительный матерок бородачей. А казаки и вовсе выигрывали при этом, ибо кашевары знали, что в любой день барон может обедать из общего котла. Посему мясо и масло шло по полным нормам и даже с приварком.

Служба меж тем шла исправно, с удовольствием он занимался с казаками стрельбой и рубкой, обучал их тактике конного и пешего боя, военным хитростям, которые знал частью из рассказов сослуживцев по японской войне, а частью из прочитанных книг. Забайкальцы лишь густо побрякивали. Когда же дело доходило до уставов и парадного строя, Унгерн начинал тосковать и старался исчезнуть или развлечь себя какой-либо каверзой.

Однажды на выгоне, сотня Унгерна отрабатывала конную атаку лавой. Учеба шла под надзором есаула Холодовского. Казаки справлялись более-менее сносно, и есаул одобрительно дергал смоляной ус. Выкрикнув фальцетом: «Сооотня!», есаул ехал вдоль ожидающей команды конной массы и вдруг резко натянул поводья – у хорунжего Унгерна из-под гимнастерки выползла черная гадюка, яростно шипя и выбрасывая крошечный раздвоенный язычок. Холодовский обратился в соляной столб, уши его чалого мерина встали в струнку. В следующее мгновение он бросился прочь, нахлестывая испуганного меринка слева направо ногойкой. Пыль стояла столбом; оказалось, что есаул, отличившийся на японской войне и всегда носивший аннинский крест на груди, панически боится змей. Строй казаков ошеломленно молчал, а в

следующую минуту закачался и застонал от страшного хохота. На произведенном дознании выяснилось, что при очередном перестроении Унгерн заметил черную змейку, струившуюся по каменной земле, чудом еще не раздавленную. Распознав в змее амурского ужа, очень похожего на черную гадюку, но при этом совершенно безвредного, он нагнулся с коня и горстью сгреб его, определив за собственную пазуху. А тот возьми, да и высунь свою плоскую головенку за ворот. В сущности, барон ничего плохого не хотел, всего-то пожалел мелкую змеюшку, беспомощно извивающуюся под копытами сотен коней, но свои три дня гауптвахты все же получил.

Куда более серьезный проступок Унгерн совершил, побившись об заклад, что побывает за монгольским кордоном в раскольничьей деревне и привезет жбан медовухи, какая по некоторым слухам бывает только там. Он поставил свои сто рублей против трехсот собранных офицерами, уверенных, что такое не под силу даже такой отчаянной башке. Во вторую половину того же дня Унгерн исчез из поселка. В полку не сразу хватились, поскольку у него было время свободное от службы. Его, правда, заметили охотники, поставившие дичь на офицерскую кухню. От них есаул Холодовский узнал об одиноком офицере, верхом пробиравшемся по лесу, вдоль линии железной дороги к границе в сопровождении лишь одной собаки. Холодовский немедленно доложил по начальству, которое спешно учинило разбор, благодаря чему выяснилось, что в расположении полка и поселке отсутствует хорунжий Унгерн. Уже ночью, по тревоге, была поднята полусотня, которая ушла в сторону границы с задачей отыскать и не допустить, не дай Боже, нарушения границы. Корпус пограничной стражи, во избежание скандала, в известность не был поставлен. Правда, усилия посланных казаков, во главе с напросившимся Холодовским, результатов не принесли. Возвращаясь глубоко за полночь Унгерн, несмотря на легкое расстройство, по причине отсутствия медовухи, – раскольники хмельного не признавали и отделались медовой сытой, услышал далекое пересвистывание казаков и тшательно заглушаемое ржание лошадей. Озадачившись этим и мгновенно согнав тряскую дремоту, он взял резко влево и, сделав круг, утром, как ни в чем ни бывало, явился на построении полка. Командир полка полковник Логинов, не спавший всю ночь от страха за случившееся, ревел как морж на льдине в теплую погоду, грозя Унгерну военно-полевым судом и каторгой. Дело, между тем, ограничилось неделей гауптвахты – происшествие решили замять. Полусотня, снаряженная в погоню, на шатающихся от усталости конях объявилась в полку лишь к полудню. История быстро стала анекдотом, а начальник штаба, даже не улыбаясь, предложил назначить Унгерна командиром полковой разведки. Будучи вызванным на проработку и цуканье к командиру полка, Унгерн смотрел в глаза бестрепетно, да еще и нахально вещал о произведенном испытании приграничной полосы на качество охраны. У полковника Логинова пропал дар речи.

Впрочем, гауптвахту барон отбывал символически. Деньги, принесенные проигравшими спор офицерами, позволили подкупать часовых, и к вечеру, забрав лошадь, он уезжал в сопки. Местоположение офицерской гауптвахты, переделанной из дома лесника и находившейся на отшибе, способствовало этому. В леснике надобность отпала, когда был изведен государственный лес, а гауптвахта наоборот была нужна позарез. Ибо полковая гауптвахта, строенная из кирпича и с чугунными дверями, так и не была завершена, по причине чрезмерного воровства подрядчика. Та же самая, как и полковой храм. Утром, как ничуть ни бывало, барон спал и дрых на дощатом топчане, прикрытом приятно пахучим сеном. Лишним будет сказать, что аппетит у Унгерна от пребывания на гауптвахте даже не испортился.

На шестой день, когда Унгерн пообедав, с нетерпением, ждал вечера, снаружи избушки, имевшей сходство с тюрьмой лишь проржавевшими решетками, послышались голоса и всяческий шум. Среди голосов выделялся один – величавый и барственный, с небольшим кавказским акцентом, смутно знакомый. Мрачно лязгнул запор, отчаянно скрипнув, отворилась

дубовая дверь, залил единственную комнату розово-золотым светом солнца, клонящегося к закату.

В дверном проеме показалась худощавая фигура, пока безликая из-за света заходящего солнца, бьющего в спину. Унгерн прикрыв глаза рукой, приставленной козырьком, напряженно всматривался в нее.

– Ба, ба, ба и ты здесь душа моя! – фигура искусственно разыграла радостное удивление, хотя в полку всем было известно о местонахождении Унгерна.

«Эге! Никак Пашка Авалов?», – весело подумал Унгерн, который при всем своем умении развлечь себя, однако начинал уже скучать.

Хорунжий Павел Рафаилович Авалов или, как он сам себя называл – князь Авалов-Бермонт, был косвенным потомком кабардинских князей, а потому считал обязательным проявлять все качества избалованной кавказской аристократии; как-то чрезмерную горячность, денежное расточительство, склонность к излишним роскошествам и веселью. Ему ничего не стоило в честь хорошего настроения напоить шампанским казаков сотни, которые после этого густо рыгали, деликатно прикрывая бородатые рты ладонями, переговариваясь при этом: «Не, не шибает кисленькая водичка, навроде кваску, только в носу щекотно». Оставить двадцатипятирублевый билет расторопному официанту, или бросить «беленькую» понравившейся веселой барышне было для него в порядке вещей. Это страшно злило семейственных офицеров, с трудом сводивших концы с концами, но сделало Авалова популярным среди офицерской молодежи. О его происхождении ходили самые невероятные слухи, которые он не пресекал, а иногда искусно и как бы невзначай подогревал. Самым упорным слухом было то, что Авалов потомок кахетинских царей, а самые бескостные языки даже возводили его в родство с царицей Тамарой.

Авалов-Бермонт был, пожалуй, самым ярким и загадочным офицером 1-го Аргунского полка, вместе с Унгерном являясь постоянным раздражителем для начальства, справедливо считающего его адской машиной с часовым механизмом. Когда-нибудь эта машина сработает и тогда «бум», и полетят погоны вместе с головами.

Впрочем, в условиях военных действий, Авалов бросал дурить и рос на глазах. Да и ценился начальством уже по-другому, как храбрец и лихая голова, правда, иногда чересчур инициативный. Но в условиях войны это прощалось.

С Японской войны Авалов вернулся с Георгиевскими крестами двух степеней, которые всегда носил на груди, вызывая кислые гримасы у комендантских патрулей, периодически испытывающих неистребимое желание задержать его за некоторые бесчинства, которыми он скрашивал будни мирной своей службы.

Когда глаза Авалова немного привыкли к полумраку гауптвахты, он шагнул внутрь, с любопытством осматриваясь – здесь он побывал впервые. Денщик тащил за ним две громадные корзины, прикрытые крышками.

– Да-с, здесь прямо скажем, не гостиница «Дворянская» и даже не...

Слова замерли на пунцовых глазах Авалова, – его блудливый глаз застыл на такой смачной и толстой паутине, будто плели ее все полковые пауки разом.

Тут надо сказать, что он, осматривая скудное убранство полковой гауптвахты, и отпустив на его счет это замечание, душой нисколько не кривил. Не только гостиница «Дворянская», но и полтинничные номера при станции Даурия здесь и рядом не стояли. Дощатые половицы, каждая шириной в пол-аршина со следами поистершейся краски кирпичного цвета, отчаянно стонали и визжали под сапогами, худо проконопаченные стены, сложенные из исполинских стволов лиственницы, наводили на мысли о том, что раньше здесь жили гиганты. Половину, если не больше, от единственной комнаты занимала русская печь, когда-то беленая, а сейчас буровато-серенькая. По ночам в печной трубе на разные голоса завывал ветер. Дневной свет в комнату проникал через два небольших окна, затянутых мутноватым стеклом с множеством

пузырьков внутри и с разошедшимися потемневшими рамами. Снаружи окна были прикрыты добротными решетками из толстых, но побитых ржавчиной прутьев.

Высокий потолок, из-за сумрака, Авалов увидеть не смог, но в противном случае и он его мало обрадовал бы. Лохмы почерневшей пыльной паутины, затянувшие его почти сплошь, являли собой зрелище крайне неловкое, если не сказать больше.

Унгерн, скрестив руки на груди, без улыбки наблюдал за князем.

– Не понравились апартаменты? Спроси номер получше, может, дадут? – почти серьезно предложил он.

– Ничего, сойдет и этот, напрасно насмешничаешь. Я брат жывал и во дворцах, а было ночевал в таких дырах, что не приведи Бог. Веришь ли, брат Унгерн, на японской войне однажды пришлось спать в свинарнике.

Роман Федорович мигнул. Авалов загорелся получить удовольствие от приятного ему рассказа. Подошел к дощатому столу у окошка, с подозрением осмотрел колченогий табурет. Сел, и закинув ногу на ногу, откровенно полюбовался сверкающим носком сапога. Добыл из кармана шаровар золотой портсигар, щелкнул крышкой. Мелодия пропищала мотив «На сопках Маньчжурии», на крышке змеилась вязь подхалимской надписи: «Его Светлости, князю П. Р. Бермонт-Авалову, от дирекции Перваго Читинского коммерческого банка, в честь доблестного окончания Японской кампании». Авалов, получив назначение в Забайкальское войско, дабы не иметь недостатка в деньгах, первым делом открыл на свое имя счет в банке и положил на него такую круглую сумму, что даже бывалые служащие пооткрывали рты. Князь, покрутив в пальцах заграничную папиросу и поймав золотым ободком солнечного зайчика, сунул ее под левый ус.

– После дела при Ляоане отступали мы два дня и две ночи подряд, без сна и отдыха, очень уж командующий боялся, что японцы нас обойдут с флангов. И тут, слава всем святым, передали команду: «Встать на бивак!». Принялись размещаться на ночлег, кто как сможет. А ночь, помню, как сейчас, была ужасно какая холодная, а мы в летнем обмундировании. Фанзы китайские, какие были там, уже заняли старшие офицеры. Костра не разведешь – дров не сыскать. Казачки приспособились: повалили коней, прижались к ним и накрылись потниками. Храпят так, что я испугался, как бы японцы не услышали. Хотел своего повалить – никак, не дается подлец и все тут. Спать хочется, сил нет, а ложиться на землю страшно – замерзнуть можно. И вот мы, с хорунжими Дубовым и Салиным, шасть туда-сюда, слышим, хрюкают где-то. Ну, мы туда. Смотрим – свинарня из глины. Невысокая, но теплая – из окошка пар так и валит. Заходим мы туда, поначалу чуть не задохнулись, запах скажу тебе не для балованных носов. Но потом ничего, выгнали проклятых хрюков хворостиной вон, благо в углу рисовая солома была навалена, и премило улеглись. Спал я в тот раз, как никогда, – Авалов даже причмокнул при воспоминании. Правда, свиньи за ночь стащили с интендантской повозки и сожрали три мешка с печеным хлебом. Пришлось нам их самих съесть потом, заместо хлеба. Ты, кстати, есть хочешь?

– Обедал, пока сыт.

– Э, да брось, что ты здесь мог обедать? Щи да каша – пища наша? Это на войне надо кушать, а сейчас сделай милость, закусим по-нашему. По-кавказки! Эй, Гараська!

Сумрачный Герасим, денщик Авалова, белобрысый плотный малый с оловянными глазами и наетым лицом, переходящим прямо в шею, подтащил корзины к столу, и хотел было в них уже лезть, но Авалов его остановил.

– Ступай молодец, мы тут сами управимся. Да не позабудь, – назавтра вычисти мою кобылу, и сведи к кузнецу, подкова задней левой худо держится. Явишься сюда к вечеру.

Герасим молча кивнул и вышел, прикрыв дверь. Часовой снаружи задвинул засов и заскрежетал ключом в ржавом замке.

Авалов кивнул тому в след:

– Видал подлеца? Хотел было удовольствия лишить.

– Какого такого? – Роман Федорович заинтересованно подошел. Неужто у Пашки такой денщик, что стянуть может из-под носа?

– Какого? А удовольствия накрыть для друга добрый стол!

Раскрыв корзины, Князь начал рыться в них, так усердно, будто ловкий жандарм в чемодане у революционера. В комнате запахло ужас, как жизнеутверждающе. На столе начала расти горка свертков, появление каждого Авалов сопровождал коротким, но волнующим комментарием.

– Цыплята табака, только что с вертела, полдюжины или дюжина, не помню. Рыбка красная. Затем осетрина с хреном. Баранина на шампурах по-карски. Лаваш с сыром – знакомый армянин печет, как в Тифлисе, верь слову. Икра зернистая, икра паюсная, сыр со слезинкой, селедочка каспийская малосольная, пирог с грибами, пирог с яблоками – рекомендую настоятельно, зелень...

Последними на широченном, грубо оструганном дощатом столе появились бутылки с коньяком, шутовская рябиновая и даже маленькая черная бутылочка с китайской рисовой водкой, отвратной до последней степени. Авалов возбужденно прищелкивал языком, потирал ладони так быстро, словно хотел вызвать огонь трением. Унгерн только обалдело вдыхал через нос полной грудью. Позабыл, что недавно обедал.

– Угощайся, угощайся душа моя! На еду смотреть долго ни к чему, это не девка, – Авалов разливал пахучий, янтарный коньяк по стопкам. – Извини, рюмок нет.

Стекло глухо звякнуло, махом сдвинутое.

– Умешь организовать жизнь! – похвалил его Унгерн, опрокинув в себя жгучий, пряный коньяк и нетерпеливо разрывая жареного цыпленка, истекающего пряным соком.

– Ага! И тебе советую так научиться, очень, понимаешь ли, скрашивает наш затхлый быт.

Авалов со вкусом закусывал коньяк икрой, давая ее белыми, хищно посаженными зубами. Икринки пищали, лопаясь.

– Судя по тому, что ты здесь, видно не только гурманством ее скрашиваешь.

– Твоя правда, брат, – ответил Авалов, наливая по второй и еще больше оживляясь. – Мы вчера у Горохова знатно кутнули. Одного шампанского выдули три ящика. Один я выпил полдюжины бытылок, веришь?

Унгерн недоверчиво посмотрел на возбужденного Авалова, но с готовностью кивнул, пережевывающий разное вкусное, рот не позволял, даже промычать.

– А ко мне – продолжал Авалов, – из Читы специально приехали барышни, миленькие такие, не без претензии, но без этих, знаешь ли, – тут он пошевелил пальцами у виска, на который были начесаны редкие иссиня-черные волосы. – Итак, сидим мы тихо, мирно, не шумим даже особенно, выпили-то еще не так много. В общем, все в рамках приличия. Горохов, канала, доволен как китайский богдыхан, в уме выручку пересчитывает. Тут нам подают седло горного барашка под умопомрачительным горьким соусом, гороховский повар – беглый французик умеет доставить удовольствие разбирающимся посетителям. Этот барашек, представь себе, не та подошвенной прочности говядина, что подают в нашем собрании, и которую получают от несчастной коровы, всю жизнь, жившую лишь на сорной траве и сене. Тут же продукт совершенно иного рода: молоденький барашек, который кушал только целебные горные травы, пил хрустальную воду из горных источников, скакал туда-сюда, а посему не имеет ни капли дурного жира. Если его, при всех названных качествах, еще и с умением приготовить, то испытаешь истинное наслаждение. Авалов, увлеченный своим рассказом, начал даже причмокивать, позабыв о яствах, разложенных на столе, и которыми всерьез занимался Унгерн. Сейчас он доедал заливное из поросенка с хреном и со сметаной, позабыв о недавнем обеде.

– И вот, только мы собрались приняться за это прекрасное блюдо, как являются эти проклятые синемундирники – жандармский ротмистр Хвошинский с двумя унтерами. Лица у этих

господ как всегда застегнуты на все пуговицы, а сами они мрачные как тысяча чертей. Их тоже можно понять, они шляются, высматривают, служба такая, а мы тут отдыхаем по столичному. Сели они в угол и пьют чай...

Авалов пренебрежительно пошевелил пальцами в воздухе.

– С этими, как их бишь, с баранками. Не сказать, что мы им дали повод для недовольства, так стрельнули в честь поданного барашка пару раз пробками шампанского в люстру, да я станцевал лезгинку. Но они, же не могут, чтобы не сделать наставление. Им же надо подчеркнуть свое значение. Хвоцинский подбежал рысью к нам и говорит так, цедя сквозь зубы и глядя в сторону: «Господа, ведите себя подобающим образом, вы все же находитесь в приличном месте, а не в шалмане». Меня словно холодной водой окатили: мне князю Авалову-Бермонту, в окружении моих друзей, да еще и при дамах заявлять такое, это знаешь ли свинство. Тут я вскакиваю, и без лишних слов выплескиваю ему в физиономию свое шампанское. Он трет глаза и как резанный вопит своим подручным, чтобы они брали меня и волокли в кутузку. Эти двое дураков бросаются на меня, но одному делает ножку хорунжий Марков, а второго бьет под ложечку Несмеянов. А я бросаюсь на нахала ротмистра, хватаю его за шиворот и спускаю его с лестницы. И глядишь, все сошло бы с рук в этот раз, если бы этот дурак Горохов не выскочил на улицу и не принялся свистать, а рядом как на грех, проходил комендантский патруль. Ну, с патрулем мы драться не стали, с мужичьем драться, резонов нет, да и комендант не спустит этого. Маркову с Несмеяновым – выговор в зубы, а меня сюда, на недельку прохладиться. Так и не отвели мы того барашка, да и барышни отбыли в Читу ни с чем. Сплошное разочарование. Но я рад, рад, верь слову брат Унгерн, мы ведь с тобой не ахти как дружили, а вот теперь станем приятелями...

* * *

Унгерн, держась в седле прямо, как рыцарь, закованный в латы, летел навстречу ветру, дующему со стороны Монголии, еще помнящему запахи степных трав, улыбался воспоминаниям о том времени, проведенном с Аваловым. Оба были людьми молодыми и авантюрного склада характера, более всего желающие постоянных приключений. Жизнь без ярких мироощущений, наполненная рутинными, повторяющимися день за днем делами, быстро выбивала их из колеи, заставляя искать источник внешних развлечений.

Унгерн, понужая кобылу каблуками, шпор он не надевал, взобрался на высокую сопку, поросшую низкорослым, стелющимся по земле кустарником и высохшим жестким как проволока багульником. Из-под копыт с шуршанием выметнуло стайку жаворонков, лошадь отшатнулась, но Унгерн удержал ее на месте.

Его глазам открывался фиолетовый горизонт, тонущий в дымке – там раскинулись громадные просторы Монголии, загадочной страны, наполненной сухими равнинами, горами, солончаками, кочующими многотысячными стадами и буддистскими монастырями, где люди веками постигали смысл жизни, искали свою сущность. Унгерн спешил, из-под руки жадно всматривался вдаль. Прodelка с переходом монгольской границы на спор вспомнилась с приятностью. «А не поступить ли мне на службу в монгольскую армию?» – возникло, как всегда шальное, в голове. Но тут, же он рассмеялся своей мысли, как нелепой и недостижимой, гоня ее прочь. «Да и какая, по чести сказать, в Монголии армия?» Роман Федорович даже фыркнул, представив кривоногих монгол с допотопными ружьями, на своих неказистых коньках, поросших шерстью длинной, как на болонке.

Заходило солнце, клоня свой огромный красноватый диск туда, где мрачно шумели непроходимые сибирские леса, синие и вечно сырые, укрывающие под спудом все, что туда попадало, будь то зверь или человек. У подножия сопки расстилалась желтая от высохшей травы падь, перерезанная неглубокими балками. Падь тянулась почти до Даурского поселка,

западнее плавно переходя в низкогорье, заросшее редкими рошицами из берез и лиственниц. На северо-востоке виднелись мерцающие зеркала озер Барун-Шивертуй и Даурского. В свете заходящего солнца были видны крохотные точки голов, торчащих из прибрежной грязной мути. Одержимые болезнями люди часами сидели по горло в бурой пахучей жиже, надеясь в ней найти себе облегчение.

Унгерн задумчиво поглаживая лошадь по короткой матово-серой гриве, обшаривал глазами расстилающуюся перед ним равнину, не цепляясь взором ни за что, так все было вокруг знакомо и привычно. На станции с адской мрачностью ревнул паровоз. Кобыла насторожила уши на звук. Унгерн резко подобрался и птицей взлетел в седло.

– Ого-го-го-го! – его веселый крик заволокло разнесся вокруг, заставив песочно-палевых степных сусликов обратиться в настороженные столбики, нервно шевелящие крошечными носиками. Придерживая кобылу, барон начал косою спуск с сопки, внимательно разглядывая сверху землю перед собой, чтобы не угодить в кротовую норку.

Проскочив падь, он остановился у ивовых зарослей, густо обсадивших пологие берега неглубокой речки, задумчиво несущей свои незамутненные воды в версте от поселка. Лошадь, фыркая, попятилась от леса гибких прутьев, стеной вставших перед ней, но Унгерн ткнув ее каблуками под ребра, двинул на заросли. Со щекочущим лязгом шашка вылетела из ножен, барон, горяча лошадь, рубил ивовые прутья, срезанная лоза стоймя втыкалась в песок. Клинок исчез, была видна лишь мерцающая молния, рассыпающая искры, лошадь боязливо гнула голову к земле, слыша близкий свист отточенного лезвия.

Сбоку послышался серебристый смех. Барон с трудом остановился, переводя дыхание, рука сразу занемела. Повернувшись вместе с лошадыю на смех, он увидел двух поселковых девушек лет семнадцати в длинных, подпоясанных рубахах и пестрых юбках, с узорами по подолу. Они стояли на деревянном мостке, перекинутом через реку, шагах в двадцати от барона. Смущенно пересмеиваясь, девушки во все глаза, смотрели на молодого офицера. Русые волосы их были заплетены в толстые косы с вплетенными в них шелковыми лентами: у одной васильковой, а у другой багряно-красной. Их свежие лица, были оживлены и хороши своей непосредственностью. Круглые шейки, золотистые от загара, были украшены дешевенькими бусами, навезенные наверняка отцами с ярмарки. Крепкие, гибкие станы были стянуты поясами, указывающими на редкую стройность талии. Унгерн смущенно смотрел на них, однако бодрился, подпустив усмешку в жидкие усы.

– Спасибо, что нарубили нам лозы, – с некоторым напевом в голосе проговорила та, что повыше, стреляя зелеными глазищами.

– Мы по лозу пришли, отцы наши плетень плетут, – весело прибавила вторая, чуть конопатая вертушка.

Только теперь барон обратил внимание на веревочки в их руках, коконами намотанные на короткие палки. Расцвел.

– Не на чем красавицы, хоть какая-то польза от моих упражнений. А вы, как я погляжу, хозяйственные?

– Ага, еще какие! За что ни возьмемся, все в руках горит, – бойко ответила зеленоглазая, – А вот вы замуж возьмите!

– Что обеих сразу? – засмеялся барон, в глазах его заискрилось, – Ну ждите, скоро сватов зашлю!

Девушки прыснули, притоптывая каблучками по потемневшим доскам.

Унгерн махнул рукой, и, улыбаясь, поскакал вдоль речушки.

В поселок он въехал, когда солнце уже наполовину скрылось за верхушки деревьев, облепивших даурское плоскогорье. По главной улице поселка шла кучка молодых рабочих с железнодорожной станции. Успев принарядиться после работы в широкие плисовые рубахи – синие и красные, подпоясанные наборными поясами, в черных штанах, штанины которых были

заправлены в начищенные хромовые сапоги с голенищами собранными для лучшей красоты в гармошку, рабочие не спеша шли по самой середине улицы. Взяв под руку друг друга, они раскачивались, словно матросы на палубе корабля. На голове у каждого сидел картуз, с синим железнодорожным околышем и лаковым козырьком. Карманы топырились от пряников и карамелек – угощать девок, у одного – маленького и самого шустрого, из карманов штанов торчали горлышки бутылок, отчего ляжки его приобрели немислимую толщину. Впереди покачиваясь, шел кривой мастерской в синей поддевке с цветком, заткнутым за ухо. Он растягивал меха подержанной гармошки и голосил, не слишком. Впрочем, мелодично:

В садике, садочке – алые цветочки,
Выйди милая ко мне —
Во лунную ночь...

По всему их пути девки прилипали к окнам, плюща носы стеклами, с любопытством и волнением разглядывая парней. А те с притворным равнодушием шли дальше, из-под козырьков, постреливая глазами по сторонам.

Унгерн с веселой искрой в глазах, не угасшей еще после встречи с девушками, смотрел на эту игру, отпустив поводья и давая лошади волю идти шагом. Поравнявшись с ним, рабочие поприветствовали его, приподняв картузы над головой. Роман Федорович, улыбнувшись приложил кончики пальцев к козырьку.

Через десять минут, поручив лошадь денщику, он входил в едко пахнущие старым жильем сени своей квартиры. Квартировал Унгерн у вдовы мелкого торговца Кочергина – Ульяны, красавицы тридцати с небольшим лет, обладающей всеми чертами привлекательности зрелой чаровницы, из робости, впрочем, не делавшей прямых попыток завлечь Романа Федоровича. Наш герой вгонял ее в некоторую робость своим титулом, серьезностью характера и фамилией, которую она так и не смогла выговорить. Робость свою она неуклюже маскировала легкой развязностью, которая никак не шла ее тонкому, лавку с невыветривающимися никогда запахами дегтя, свежепосоленных сельдей, керосина и хомутов. В лавке она сидела сама, отвешивая сахар и муку, наливая посетителям в бутылки прозрачный керосин. Вечером она готовила себе и барону, сначала дивясь его неприязнительности в еде и стараясь приготовить что-либо удивительное, для чего даже ходила за рецептами к гороховскому повару-поляку, а затем, не встречая сильных его восторгов насчет кушаний, стала кормить привычными для себя блюдами.

Унгерн прошел из общего коридора в свои комнаты, первая из которых служила прихожей и имела из убранства лишь железную трехрогую вешалку с вечно висящей на верхнем рожке парадной фуражкой Унгерна, ящика для обуви, железного умывальника, да полочки, прибитой к стене почти у пола. На этой полочке денщик барона Вахрамей держал щетки и гуталин для сапог. Спал Вахрамей здесь же, в прихожей, раскладывая трехногую походную кровать и доставая для этих нужд, матрац столь засаленный, что даже нетребовательный в быту Унгерн пригрозил однажды выкинуть его на двор.

Всю обстановку унгерновской комнаты составил черный лаковый гардеробный шкаф с двумя створками и выдвигаемыми ящиками, стол, два венских стула, узкий диван с пружинами, каждый раз издающими тоскливый стон при посадке на них. Наиболее роскошным предметом обстановки была старинная широкая кровать, ловко сработанная из сосны под дуб. Все это принадлежало квартирной хозяйке, поскольку своего движимого имущества Унгерн не имел, не считая охотничьего ружья системы Зауэр – подарок отчима на совершеннолетие, которое висело над диваном и полочки с книгами. В морском кадетском корпусе на скучноватых лекциях по навигации он иногда почитывал любимые книжки, за что неоднократно получал нагоняя. В конце концов, вместе с другими проступками это и привело к неполадкам по учебе. Нет,

морское дело он любил, с удовольствием учился судовождению, обожал ходить под парусом, с начала учебы был кадетом на хорошем счету. Мать и отчим поначалу были страшно довольны – престиж морской службы, что вы хотите. Но после, когда дошло дело да вычислений, тригонометрии и прочих астролябий, дело пошло на спад. В море Роман был согласен ходить, лазать по вантам, стоять у руля и даже драить корабельную медь – да, с нашим удовольствием. Но вот лекции и аудитории, ну никак не пошли. Потом случилась война, кадетство своевременно закончилось, не доводя дело до исключения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.